Виктор Калитвянский

ФРАНЦУЗ

Монопьеса

Вот, говорят, где родился, там и пригодился. Это всё верно, всё так и есть. Отец мой сказывал, что его дед почитай всю жизнь просидел в нашей деревне. Только раз в Покровское выбрался, на ярмарку, да и то – ногу сломил и провалялся на палатях весь сенокос и ещё аж до третьего спаса…

А вот, бывает, братцы мои, совсем наоборот. Это я вам говорю, орловский мужик Иван Журавлев. Я полмира обошёл, а помирать господь бог возвратил на родину, в Липовицу. Липовица – это наша деревня. Она там, за гребнем. Вон, коровник, видите? Коровник, а рядом сарай. А мимо - дорога бежит наверх. По этой дороге колхозная машина за молоком приезжает…

*Пауза.*

Я всегда, сколько себя помню, любил на этом пригорке сиживать. И мальчонкой, еще до революции, и потом, когда в Липовицу вернулся через тридцать с лишком лет. Сидишь тут, а вся округа как на ладони. Бывало, после воскресной службы все наши - домой, а я, наоборот, - мимо кладбища да под липу. Сяду – и глазею во все стороны. Вон, по левую руку, пруд в низинке, а за ним луг… А по правую руку - поле ржаное… А вон стрижи полетели над землей… Низко-низко! Прямо рай земной: солнышко греет, ветерок холодит… И дух от земли такой, что не надышаться. И вот, сижу так, пока наш колокол не подаст г**о**лоса… Хорошо!

Как-то раз я так вот сидел – да как затяну свою любимую, про двенадцать разбойников и атамана Кудеяра. А меня кто-то – хвать за ухо. Гляжу, а это отец Григорий, наш батюшка. Ты, говорит, чего тут покойников пугаешь, кто тебя такому выучил? А я ему – так то бабуня, она у нас без песни шагу не ступит… Коли так, говорит батюшка, будешь у нас на клиросе петь. Ну ладно, стал я петь на службах – верую там, единородный сыне или великую ектенью. Сначала мне понравилось, а потом скучно стало со старушками, да и ребята меня поддразнивали.

Так вот, до революции никакого коровника там не было, да и колхоза, понятное дело, тоже. Зато располагался наш хутор, журавлевский, по нашей фамилии. И этот самый сарай… который рядом с коровником… то была наша мастерская. Её, мастерскую, отец с моими братьями поставили, когда я ещё пешком под стол хаживал…

В этой самой мастерской мы колеса для телег мастерили, колёсные пары. Себе и на продажу. И когда я приехал в Липовицу, в пятьдесят четвертом году, председатель мне и говорит: коли ты, Француз, наш, липовецкий, и сарай ваш, семейственный, то и живи там, чего уж…

Вы, конечно, спросите, а почему тебя, меня то есть, Французом кличут? Длинная эта история. Даже не знаю, браться ли рассказывать…

Вон, видите, по дороге из Липовицы человек идет? Видите? Далёко, но разобрать можно… Женщина. Юбка на ней и платок на голове. Как без платка в такую-то жару… Это племянница моя. Она ко мне идёт, повидаться. Давненько мы с ней не видались, с родительского дня. Она младшенькая среднего моего брата. Нас было трое у отца с матерью, братья мои старшие и я. Мы крестьянским трудом жили да ещё ремесленным. Ну, пока можно было… А как братьев в ссылку погнали со всем семейством, они младшенькую-то свою возьми да оставь родне. Осень была, зима на носу, холодно, мало ли… Как в воду глядели.

Ну вот, пока она идёт, племянница, мы с вами успеем договорить. Она еще к бабам в коровник заглянет, потолковать о том о сём, а потом уж сюда, ко мне…

До семнадцати годов жил я в округе безвылазно, только в Покровское ездил с отцом или братьями, в базарный день колеса возили. Занятие это колёсное завелось в нашем семействе, как дед мне сказывал, сразу после того, как царь-освободитель волю дал. Так и повелось, кто - в поле, а кто – на колеса. Мужики, понятное дело. Бабы что – они на подхвате: детишки, поесть приготовить и всё такое прочее.

Вот и я пошёл по этой части, по колёсам. Уж не знаю, почему так вышло. Дед говорил, что всегда у нас кто-то находился, чтоб это колесное занятие не пропадало. И ты, говорил дед, из таких. Ну, а мне-то что?

Так что старшие мои – в поле, а мы с отцом - в мастерской. Дело нехитрое, коли его освоишь. Тут, главное, чтоб матерьял был подходящий. Хоть у нас деревня и Липовица, но липа на колёса не годится, мягка больно. Тут нужен ясень или на крайний случай – дуб. Раньше, при старом режиме, да не при последнем царе, а до того – матерьял сами заготовляли. Но потом ни ясеня, ни дуба в округе нашей не сыскать стало, так что заготовки на ярмарке покупали.

И вот я, значит, целый день в мастерской, а старшие - в поле. Возвращаются – и меня давай допекать: дескать, катаешься тут на колесиках, а мы тебя – корми…

А я им: ещё неизвестно, кто кого кормит, вот на Покров сочтём, где барыш главный будет: на колесах или на ржи да на овсе…

Более всего мне по душе было – как из прямого бруска выходит колесная четверть. Вот он, брусок, - прямой и не согнуть его, не переломить. А попарил его, потомил да на круг натянул, и вот он уже дугой изогнулся, и на утро – готовая четверть. Ну, а собрать само-то колесо, из четвертей, да спиц, да оси – это уж дело попроще, хотя и весёлое.

В мастерской чем ещё хорошо – кухня рядом, маманя всегда чем-нибудь угостит. Отец, бывало, кричит: не давай ему, он ещё на кашу не наработал, а маманя кивает, да-да, мол, - а сама чего-нибудь да сунет. Или хоть квасу нальет.

Вот так мы и жили - хоть летом, хоть зимой. Неделя пройдёт, а в воскресенье – на службу в церковь. Всем семейством, и бабушка, пока жива была, и дед, пока ноги носили. Ну, я на клирос или, когда стал отлынивать, - за спинами прячусь. Взрослые, понятное дело, молятся и крестятся, а мы, ребята и девки, по сторонам глазеем да перемигиваем – до тех пор, пока отец Григорий службу не остановит и не заругается. Тут кому – подзатыльник, кому – по шее. Сначала вроде опять тишь да гладь, а потом – снова здорово… Ничего не поделаешь, дело молодое и глупое.

Как война с германцем началась – старший пошёл в армию, а к весне возвратился без правой руки, чуть ниже локтя ему оторвало. Ну, с такой культей - какой из него колесник, разве одной левой управишься?.. В поле ещё туда-сюда, а в мастерской – не выйдет ничего. Я тогда у отца и так уж в подмастерьях ходил, а тут совсем стало ясно, что моя доля – колёса…

Ну, а на второй год войны приехала из Петербурга дочка нашего помещика Нина Николаевна и стала по воскресеньям читать в классе. Лекции всякие. Про старинных героев, греков и этих, которые после них были, – римляне… Ну, и про наших, русских: Сусанин там или Кутузов.

Я до того в школу две зимы ходил, до войны ещё. Отец меня туда налаживал, чтобы грамоты поднабрался. А то путаемся, счесть не можем – ни расходу, ни доходу… Ну, я кой чему выучился, а потом бросил. Учитель меня всё звал. Как встретит, бывало, на улице, так говорит: ты, Ваня, напрасно не ходишь, я бы мог тебя в училище в Покровском устроить, ты смёткий, из тебя писарь выйдет, а может и того больше… А я всё смеялся: какой из меня писарь, если я по колёсному делу?

Так вот, как стала помещичья дочка лекции свои рассказывать по воскресеньям, все наши ребята туда бегали попервоначалу. Не то чтобы им про греков было интересно, а просто барышня была такая красивая, что глаз не отвести.

Ну, и я как-то пошел послушать и потом уж ни одного воскресенья не пропускал, так что братья надо мной стали насмехаться: мол, не разевай рот, не для тебя пирог испечён…

Дело это, которое между бабой и мужиком происходит, я рано попробовал. Девки у нас в округе были смышлёные, да и солдатки баловали. Но Нина Николаевна вроде как и не бабой гляделась. Одно слово, барышня. С ней-то не пошуткуешь, что там у девок за пазухой иль под юбкой. Парни-то наши языки чесали промеж собой насчёт неё, а у меня - не поворачивался. Даже и не знаю – почему… Потом уже, когда я встретил мою Мар**и**, вот тогда до меня дошло, что девка только глядится девкой, а на самом-то деле – штучка тонкая. И куда уж там дурачку деревенскому в пятнадцать лет понимать такие материи…

Барышня Нина Николаевна проживала у отца в имении. Помещик наш когда-то всей Липовицей владел, а к войне у него земли осталось не так много, но самая лучшая. Дом стоял хороший, вон там, за гребнем, направо, через луг. При советской власти там школу завели, а при немцах она сгорела. Я этого, конечно, ничего не видал, это мне племянница потом рассказала, когда я вернулся.

В общем, я все рассказы барыши прослушал. И всё помню: и про страдания господа нашего Иисуса Христа, и про спартанцев, и про Пушкина, и про царицу Екатерину…

Иной раз после лекции сидели, чай пили, разговаривали. Мы, девки и ребята, спрашиваем, а Нина Николаевна отвечает, и так всё как-то бывало хорошо, по-человечески. Даже и театр пробовали делать. Этот, как его, водевиль… Нина Николаевна мне всё бранила: что я громко кричу и глазюки таращю…

Один раз пригласила нас Нина Николаевна к себе в имение. Сыграла на инструменте музыку. Мне понравилось, грустная была музыка и звонкая. А ребята говорят: пусть Ванька споёт. Ну, я спел, как сейчас помню – не велят Ване по улице ходить, не велят ему красавицу любить… Нина Николаевна засмеялась а потом говорит: давай-ка попробуем эту песню… Показала мне слова и наиграла на инструменте. С тех пор я и пою всю свою жизнь эту песню:

Не для меня придёт весна,
Не для меня Дон разольётся,
И сердце девичье забьётся
В восторге чувств не для меня.

Не для меня бегут ручьи,
Текут алмазными струями,
Там дева с чёрными бровями,
Она растет не для меня.

Ну, и так дальше, до самого конца.

*Пауза.*

А когда царя-батюшку сбросили – началось. Форменный беспорядок. Одно, другое, третье. Временное правительство, большевики, фронтовики возвращаются. Землю начали делить заново. Шум, крик, перессора…

И вот как-то приходит средний брат из деревни и говорит, что в имении фронтовики шуруют. И кажется, самого помещика прибили… Потом он воды из ковша хлебнул, посмотрел на меня и еще что-то сказал отцу и старшему, я не разобрал. Они тоже на меня посмотрели, а отец головой покачал.

Помню, пошёл я тогда в мастерскую, походил вокруг колёсного круга – а потом сиганул через плетень и побежал полем, вокруг пруда, прямо на имение. Я бежал всё быстрее, как будто мог еще куда-то успеть, так что раз со всего маху свалился в яму и бок подрал. Подбегаю, а из дома выходят врач, из земской больницы, который маманю лечил, и отец Григорий, наш священник. Я в кустах спрятался, пока они ушли за гребень, и пошёл в дом.

А там, в зале, темно, на столе свечка горит, а рядом, под белой простыней, - что-то большое, я даже не сразу понял, - что там… Огонёк свечки скачет, как живой, и на простыне - красные пятна, то тут, то там… А я стою, как вкопанный, глаз не могу отвести от простыни… Как вдруг над самым моим ухом кто-то говорит, таким сухим незнакомым голосом: «И ты здесь…». Гляжу, а это – она, Нина Николаевна, стоит в дверях. Платье на ней разорвано и лицо побито. «Что, - говорит, - полюбоваться пришел?» А я смотрю на неё и слова сказать не могу. «Или ты тоже хочешь?.. – говорит она с нехорошей улыбкой. – А что, давай… Вам теперь всё можно».

Сказала – и ушла. Ну, и я пошёл - куда глаза глядят…

*Пауза.*

Так вот и закончилось всё это: воскресная школа, имение, помещик и Нина Николаевна, её рассказы, чай да театр…

Не сказать, чтобы в деревне радовались, когда это всё случилось. Скорее, стыдно было. Так что быстро забыли, как будто бы ничего и не было вовсе. И наши, отец с матерью и старшие – тоже. Один только раз слышал я под окном, как мать сказала что-то про Нину Николаевну, - дескать, она-то чем провинилась, - так отец что-то такое ответил ей, из священного писания, что дети, мол, отвечают за родительские грехи… Помню, тогда я подумал: неужто и мне придется отвечать за их прегрешения?.. Другое дело, что я не понимал тогда толком, что это такое, по-настоящему, – грех. Отец Григорий на проповеди, конечно, частенько толковал нам о грехах и геенне огненной, но до сердца и души не доходило. Что мы, парни да девки, понимать тогда могли?..

А потом, в восемнадцатом году, под рождество, красные забрали в их армию среднего брата. И возвернулся он только летом, контуженный на правое ухо. А осенью пришли с юга белые. Корпус генерала Май-Маевского. И говорят: мобилизация, вы должны помогать большевиков скинуть. Будет, мол, Учредительное собрание и новая жизнь. И требуют от нас, от нашего семейства, одного мужика.

Ну, отец видит, что никуда не деться и говорит мне: иди-ка ты, сынок, сходи. Может, и правда, прогонят большевиков, так нам зачтется. Не высовывайся, под пули не лезь, начальство слушайся. Москва недалече, глядишь, к масленице вернёшься, а я тут пока один колёса погну…

Ну, я пошёл. А куда деваться?

Дали мне шинель, показали, как из винтовки стрелять. Дело нехитрое. Толку, правда, немного, потому как попасть я мог разве что в белый свет…

Уж не знаю почему – поставили меня денщиком ротного командира. Тут мне повезло, капитан Муромцев был мужчина спокойный, солдат по морде не лупцевал и даже не ругался последними словами. Только если совсем уж что-нибудь эдакое – так посмотрит, что хоть под землю провались…

В бою капитан не робел. Наоборот, делался таким весёлым-весёлым… Станет на одно колено, в бинокль смотрит да что-то напевает. Пуля просвистит – он и ухом не ведёт. А у меня душа – в пятки… Лежу, носом в землю, господа поминаю, маманю, всех святых…

Должность свою я старался исполнять на совесть: и порядок, и поесть вовремя, и поручения разные от капитана донести куда надобно… Один рядовой, Митька, земляк из соседнего уезда, всё меня подначивал. Будто бы я аки молния по командирским приказам ношусь, рота не успевает башкой вертеть… А что ж не помочь хорошему человеку?.. Как-то раз подслушал я разговор капитана с другим ротным, ротмистром. Они ночью выпивали, а я им закуску таскал… Так вот, ротмистр говорил, что вся беда в России от того, что мало пороли да ссылали, что нужно простонародье в полной строгости держать. На что наш капитан смеялся и отвечал в таком разе, что - как же его, народ-то, взять в полную строгость, когда он того уже не хочет… Может, оттого и настала революция, что вместо того, чтобы учить народ и делать его ровней, пороли да ссылали? Ротмистр на слова про «ровню» ругался и грозил, ежели Москву возьмут, всех смутьянов на бульварах развесить… Я, помню, удивился: что это за бульвары такие, на которых людей развешивают?..

Ну, Москву Май-Маевский не взял, а заместо того, наоборот, пошли мы назад, на юг, потому что красные давили вовсю. А мы с Митькой всё судили да рядили – что же нам делать? То ли сбежать и – по домам, то ли дальше уходить вместе с белой армией. То есть, всё дальше от Липовицы…

Митька - мне: а кому ты нужен в Липовице? Земли тебе все одно не достанется, потому как старшие братья загребут. Ты им не нужен вовсе… Маманя с отцом тебя, конечно, ждут, живого, а братаны – те нет, ты им лишний. А фронтовики? Они, небось, теперь все большевиками стали. Думаешь, они тебе в укор не поставят, как ты к Деникину пошёл?..

А я ему: так разве ж я своей волей, то ж мобилизация, я за старших, за все семейство пошел…

А Митька мне: большевики тебе скажут, дескать, коль не своей волей, так надо было перебежать к ним, красным то есть. А теперь ты вражина, и с тобой будет разговор простой…

На этом он меня, конечно, всегда побивал, потому что от фронтовиков я ничего хорошего не ожидал.

Все не могли мы с ним решить, как нам поступить. И вдруг, под Воронежем, пропал Митька. Утром был, а к обеду его не нашли. Ага, - подумал я, - он решил без меня дать дёру… Обиделся я на него, но тут ранило капитана Муромцева, стал он без сознания, и полковой командир велел мне за ним ходить, как за родной матерью. Ну что делать, так я и ходил за капитаном, пока он не выздоровел. Совестно было его бросить. Он, бывало, дремлет, а я рядом на телеге сижу и песню какую нить затяну – не слышно шума городского или раскинулось море широко. Он вроде спит, а потом скажет: давай – не для меня…

 Я ему всегда до конца не допевал -

А для меня – кусок свинца,
Он в тело белое вопьется,
И слезы горькие прольются:
Судьба такая у меня.

А раз – забыл. Гляжу – а у него слезинка из закрытого глаза скатилась на щеку…

Встал на ноги капитан только после Ростова, когда мы уже шли к Новороссийску. А там - полный беспорядок. Всё перемешалось, никого не найти, из-за гор канонада слышна ночью, все бегают, матерятся. И передают от одного к другому, что красные рубят нашего брата беспощадно…

Капитан Муромцев пошёл к начальству разбираться, а я - первым делом к морю, посмотреть: что это такое – море? После нашего пруда в Липовице повидал я две реки - Воронеж и Дон, но море, конечно, не сравнить. Волны - в два аршина. Бегут на тебя, бегут, как будто кто их гонит, - то ли царь морской, то ли сам господь небесный…

Я даже попробовал этой морской воды. А она - холодная и как бы рассолом сладким отдаёт…

Вернулся капитан от начальства, пошли мы в трактир, поесть. И говорит капитан: через два часа уходит корабль на Крым. Так что решай: либо со мной, либо положись на волю божью и милость большевиков. А они, говорит, будут здесь дня через два…

В общем, ушёл я с капитаном Муромцевым в Крым, и там мы ещё полгода проваландались. И опять я гадал, что мне делать: возвращаться в Липовицу через большевиков или бежать дальше в туретчину... Я говорю капитану: что за Константинополь такой, что мы там забыли, кому мы там нужны? А он усмехается, дескать, мы теперь никому не нужны, а там хоть живы будем… Вон, красные с севера жмут, и теперь уже, ясное дело, сбросят нас в Черное море, порубив предварительно на кусочки… Это он, капитан, в подпитии так выражался… А так, коли уйдём в туретчину, - глядишь, мир посмотрим. А уж совсем будет невмоготу – можно и вернуться, когда война кончится, никуда твоя Липовица не денется, она триста лет стояла и ещё столько же простоит… Это мне, говорит капитан, назад хода нет, а тебя, может, и простят большевики.

Куда мне было деваться от капитана Муромцева? Ушел я с ним в Константинополь этот самый Стамбул, турок посмотрел и турчанок. А уже из туретчины пошли мы в Африку, в порт Бизерту, через все море, которое называется средиземным. Теперь уж море было теплое, и купался я в нём и даже плавать выучился…

А уж из Бизерты пришли мы в Марсель, и вот там я к французской речи стал привыкать. Интересная та речь, шустрая и звонкая, как у птицы весенней… И французы народ шустрый, за ними никогда не успеешь поспевать.

Марсель – город такой большой и красивый, что я по первости даже не понимал, как это можно так жить. Целый час идёшь по улице, а она не кончается. Дома каменные, с завитушками, трамваи бегают по рельсам, трактиры на каждом шагу. И народу – как колосьев на току.

В Константинополе-то, в Стамбуле то есть, мы на острове сидели. Я оттуда вообще ни разу не выбрался, только издаля, через пролив видал эти самые башни - минареты… А тут – Марсель, корабли в порту один на другом, крепость какая-то вдоль берега, стены в сто аршин высотой. А церкви-то каковы!.. Я как в первый раз зашел в ту церковь, так у меня прямо дух занялся: это ж какую махину люди смогли выстроить, голову закинешь, а все равно не видать, что там, наверху…

А ещё – автомобили! Сколько же их там по дорогам бегало! Я как увидал, обсмотрел его со всех сторон по-настоящему. У нас в полку тоже был один, но тогда меня к нему не допускали. А тут – вот они, блестящие, дымом воняют, а колеса – у! - нашим-то не чета.

Целый год прожили мы в Марселе, в казарме. Полсотни нас было, русских. Офицеры с французами всё толковали, как нам быть и как жить, а мы, нижние чины – за хозяйство в ответе и развлекайся кто как может.

Как-то пошёл я погулять к морю. Нравилось мне море: волна бежит, солнышко светит, и запах такой, словно от липы цветущей… А я хожу по берегу и песни ору – чтоб волну перешуметь. А что? Никого нет, разве господь бог слышит – так он поймёт, не заругает.

На обратном пути обгоняет меня автомобиль. Марка Рено, я уже знал. Один француз – за рулём, второй – рядом. Я - за ними, вышел за поворот, гляжу – автомобиль на боку, французы стоят и думают, что делать.

А на боку, потому что колесо с оси слетело и валяется в яме. Смотрю – ничего, целёхонькое. Можно и назад вернуть, ежели автомобиль приподнять. Кое-как мы колесо на ось поставили, и тот, который помоложе, поехал потихоньку, а мы со вторым - пешком. По дороге француз всё расспрашивал, кто я такой и как здесь оказался. Про Россию он понял и всё качал головой. Так мы дошли до автомобильной мастерской, а там оказалось, что этот пожилой – сам хозяин и есть. Он дал мне монету – за помощь. Я на эти монету купил вина, поесть и принёс капитану Муромцеву. Он смеялся и говорил, что я не пропаду, если что… Я про себя подумал: что это такое – если что?..

Стал я немного работать в этой мастерской. Хозяин за мной дочку присылал, если было много заказов, и они с зятем не справлялись.

А потом капитан объявил, что должны мы ехать в Париж. Вроде как там можно устроиться лучше. Хозяин мастерской сказал мне, что если уж я собрался в Париж, надо идти на завод Рено, что в Биянкуре. Мол, там меня запросто возьмут. Помню, я удивился: как это он так уверен, что меня возьмут?..

Приехали мы в Париж. То есть, не то чтобы Париж, а какая-то деревня за окраиной. Ну, я говорю – деревня, но это не то, что наша Липовица. Домики каменные, заборы железные и на них живой вьюнок – плющом называется.

Поселили нас в каком-то большом сарае. Муромцев с офицерами в Париж ездят, ну а мы, нижние чины – кто куда и сами по себе.

Тут я вспомнил про завод Рено и поехал в этот самый Биянкур. Приезжаю утром, а там народ с вокзала валит – и прямо в заводские ворота. Идут и идут, конца им нет. И сплошь одни мужики. Ну, и чёрт меня дёрнул, я между ними затесался – и тоже к воротам. Уже почти прошёл, но тут меня – хвать, и в какую-то каморку. И спрашивают: ты кто такой? А я говорю, на работу пришёл наниматься. На работу? – говорят. Так это в контору.

В конторе спросили документы. Я дал бумажку, которую нам в Марселе выписали. Конторщик пробурчал, что почитай каждый день русские приходят… Поспрашал он меня, что могу, и велел приходить через неделю.

А потом, помню, поехали мы на собрание. Там наши русские собирались, какой-то воинский союз, название уже не упомню. Ну, собрание как собрание. Про революцию, большевиков и что нужно быть готовыми вернуться, значит, на родину - ежели назреет момент.

И вот здесь я увидал, что это такое - Париж. Капитан Муромцев повел меня глядеть. Он всё знал, побывал ещё до войны. И с большим удовольствием мне показывал-рассказывал. И про башню Эйфеливую, и про мост в честь нашего царя, батюшки убитого Николашки, и про большой дом, где лежит самый великий француз Наполеон Бонапарт. Ну, что сказать? Для меня и Марсель был как чудо, а уж Париж – как таких чудес целая гора…

И здесь-то я и увидел, что такое - бульвар. И на нём не людей развешивают, а просто гуляют или по своим делам ходят. Большая улица, а посередине – ещё одна, поменьше…

Настал день, приехал я на завод Рено. Повели нас, ораву мужиков, по цехам. Идём, а мастера подходят, смотрят, кого-то берут. Ну, и меня тоже взяли. Хотел я в колесный цех, да не дошел до него, поставили на главную сборку. За мной и другие наши потянулись, русские, и почти всех взяли.

С тех пор я там, на заводе Рено, и работал. Сколько новых машин прошло через мои руки - даже не сочту. И автомобили, и автобусы, и даже танк был… Сначала ездил каждый день из нашего сарая и обратно, а потом сняли комнату недалеко от завода. Стал ходить в бистро, в кинематограф. Там, в Биянкуре, и познакомился я с моей Мар**и**…

Выходим мы как-то с ребятами из бистро, а навстречу - девчонки. Ну, я-то по-французски не очень, а ребята давай с девчонками шутковать, как это у них бывает, быстро-быстро, так что ничего не поймёшь. А одна, такая черноглазая, всё молчит и только усмехается. Через пару дней встретил я черноглазую в булочной. Разговорились, и пошёл я её провожать. Проводил, иду назад, как вдруг окружают меня ребята, французы. И говорят, ты чего за нашими девушками бегаешь?.. И один мне – слева в ухо, а другой – справа по затылку. Ну, я отбиваюсь кое-как, и тут вижу – бежит со всех ног моя черноглазая и ну орать на парней, особливо на того, кто мне по уху заехал.

Так я познакомился и с Мари, и с её кузеном Люк**а**. А тех кузенов у Мари было по всей Франции – хоть ими пруд пруди…

Люка был парень хороший, мы с ним подружились. Он как раз вступил в социалистическую партию и всё меня расспрашивал про Россию. Он, конечно, думал, что я тоже за большевиков. Потому что как же мог быть рабочий человек за эмигрантов, за белых, когда в СССР трудовые массы строят социализм назло буржуазии… Ну, я с ним не спорил, чтоб его не огорчать.

Так стали мы с Мари - жить. Это она всё решила – что я буду её парнем. Она такая – если чего решила, её не переспорить. Сняли комнату. Я – на завод, Мари – в свой магазин. Вечером – домой… А в воскресенье – в Париж, гулять.

И вот идём мы как-то вечером по улице Вожирар в синематограф. На Мари, как сейчас помню, голубенькое платье с пояском и шарфик на шее. Она такая тоненькая, глазастая, шустрая, щебечет на своем французском, я и половины не понимаю.

Вечерний Париж, это, братцы мои, - ни в сказке сказать, ни пером описать. Всё горит, всё сверкает, народ туда-сюда снуёт. Уж не помню, какой фильм был, только афишу помню, шикарная такая афиша – дама с мужчиной в обнимку. Она с афиши на нас глядит, а он – на неё, и зубы у них такие белые и красивые…

Постояли мы с Мари у афиши и уже собрались идти в зал, как вдруг подъезжает автомобиль. Выходит из автомобиля господин, в черном костюме, и подаёт руку молодой даме. Платье у дамы дорогое, в кружевах, уж будьте покойны, раз в десять дороже платье, чем у моей Мари… И вот они проходят мимо нас к ресторану, дама поворачивает голову – и тут я вижу, господи ты боже мой, - это же Нина Николаевна, дочка нашего помещика, та самая барышня, что у нас в школе детей учила.

Та самая – да не та. Та, конечно, была помещичьей дочкой, нам не ровня, но всё ж таки своя, почти деревенская, с ней можно поговорить и даже посмеяться. А тут - дама: волосы закручены в прическу, блестят, и запах как в парфюмерном магазине на Шан зе лизе, куда мы с Мари как-то раз заходили, просто посмотреть.

И вот, как узнал я Нину Николаевну, на меня какое-то затмение нашло. Я так обрадовался, что совсем позабыл про всё, что случилось в Липовице в семнадцатом году, про этих самых фронтовиков, про свечку на столе и всё остальное…

А она на меня смотрит – лицо весёлое и глаза такие блестящие. И вдруг, словно чёрта какого увидала, - прямо шарахнулась в сторону, вцепилась в своего кавалера - и в ресторан. Ну, а мы с Мари – в синематограф.

Мари, конечно, заметила, что я сам не свой. Все поглядывала на меня, удивлялась, наверно, что я её не тискаю потихоньку, как обычно… А я сидел какой-то деревянный и ничего не мог с собой поделать. И только лицо Нины Николаевны передо мной стояло вместо экрана. То одно лицо - из семнадцатого года, исцарапанное. То другое – нынешнее, такое взрослое и красивое.

Ну, выходим после сеанса на улицу. Мари меня тормошит, и я вроде как в себя прихожу. И тут сбоку подходит господин – тот самый, с которым приехала Нина Николаевна, кланяется Мари и обращается ко мне на чистом русском языке. И говорит, дескать, Нина Николаевна просит меня завтра вечером прийти по этому адресу. И подает бумажку с адресом. И уходит. Садится в автомобиль, а из окна автомобиля смотрит на меня Нина Николаевна…

Тут, понятное дело, в меня вцепилась Мари, она обалдела оттого, что я знаком с такими господами. Пришлось мне всё рассказать про то, что случилось в Липовице. Пока я рассказывал, она смотрела на меня круглыми глазами, я уже думал, что она на меня рассердится. Но нет – наоборот, она меня крепко обняла и вздохнула… Вот ведь каковы эти женщины, никогда не поймёшь, что они сейчас тебе скажут или сделают.

На другой день после работы пришёл я по адресу. Дом был хороший, но не шикарный. Поднялся я на этаж. Дверь открыл тот самый господин. Провел меня в комнату. Нина Николаевна сидела у стола. Господин хотел было уйти, но Нина Николаевна показала ему – чтобы сел рядом.

Какое-то время она смотрела на меня, а потом спросила, как я очутился в Париже.

Ну, я начал ей рассказывать, с самого начала, как вам, примерно: и про корпус Май-Маевского, и про эвакуацию, и про Бизерту, и про Марсель и Рено… Только про Мари ничего не сказал.

Нина Николаевна меня слушала и перебирала в руке белый платочек. А потом спрашивает, не забыл ли я песни. И затягивает – не для меня… Ну, я ей – подпевать. И тут вижу, у неё из глаз – слёзы ручьём. Господин взял её за руку, и несколько минут мы сидели в полном молчании.

«Значит, ты ничего не знаешь, как там Липовица, наше имение?» – спросила Нина Николаевна.

Что я мог ответить?

«А ты не пробовал написать письмо? – продолжала Нина Николаевна. – Говорят, почта работает. У нас есть знакомые, которые получили ответ».

Потом мы пили чай, и в разговоре выяснилось само собой, что в семнадцатом году Нина Николаевна уехала в Петербург, через Финляндию попала к немцам и там встретила своего дальнего родственника, за которого вышла замуж. Это был, конечно, тот самый господин, что пил с нами чай. Он был адвокат и, судя по всему, небедный.

Когда я уходил, Нина Николаевна спросила про Мари и пожелала нам счастья. Потом обняла меня, поцеловала в лоб и прошептала: «Как же там Липовица?.. Без нас с тобой?».

Слова Нины Николаевны про письмо в Россию не выходили у меня из головы. Мари говорила, что нужно идти в посольство и всё узнать. Но мне туда, к большевикам, совсем не хотелось. Мари меня стыдила, дескать, ты же во Франции, что они могут тебе сделать. Но я отказывался. Тогда Мари сговорилась с Люка. Ну а этому парню – что море, что канава, - он туда явился, наплёл про дальних родственников, и ему сказали, что писать можно. Письмо дойдёт и ответ – тоже. Если, конечно, остался кто-нибудь живой из родных, и они захотят ответить.

И я написал. Мол, так и так, пишет ваш сын и брат Иван… Как вы там поживаете, все ли живы-здоровы?..

Прошло какое-то время, и приходит ответ. Средний брат своей рукой пишет, что у них всё хорошо, все живы, хоть и маманя хворает, а отец совсем слабый, так что колесное наше дело барыша не даёт. Дескать, все рады, что я жив, маманя плачет без перерыву, и все удивляются, куда меня занесло…

Ну, я помню, тоже заплакал, глядя на это письмо. Маманю вспомнил, Липовицу нашу и Нину Николаевну, когда она совсем молоденькая была и рассказывала нам в воскресной школе про поэта Лермонтова и царя Петра Великого. И так мне стало жаль, что не остался я тогда, в двадцатом году, в России и не вернулся в свою Липовицу… Всё ж таки, родная земля, и вон, у них там всё хорошо… Но тут пришла Мари и утешила меня: мол, у каждого своя судьба. Да и разве Париж хуже твоей деревеньки, неблагодарный ты русский дурачок… Это она так меня называла, когда злилась или, наоборот, дразнила.

Прожили мы в Биянкуре десять лет. Каждый день, рано поутру – на завод. Иногда по дороге покупал я в киоске русскую газету. Там на первой странице всегда была статья про Россию, то есть, про Советский Союз. Как они там живут. Из этой газеты узнал я про колхозы. И подумал, что отцу с братьями этот самый колхоз совсем не понравится.

Там, в Биянкуре, родилась наша Кати. Она как раз только на ножки поднялась, как приезжает капитан Муромцев. Прощаться. Я, говорит, Ваня, в Лондон уезжаю. Буду теперь там жить. Там у меня невеста, и всё такое прочее.

Ну, что тут скажешь? Выпили мы, и спрашивает капитан мою Мари – дескать, слыхала ли она, как я пою? Мари засмеялась, и мы с нею вместе пропели братца Жака…

Обнялись напоследок, посмотрел капитан на нашу Кати, засмеялся – и ушёл. И с тех пор я его больше не видал. Только два письма от него было. На первое я ответил, а на второе – как-то не собрался. Потому как – ну что писать-то? Жизнь наша была простая и одинаковая.

А потом умер отец Мари, и она решила вернуться в свой Безансон, потому что мать не справлялась - двух братьев Мари убило на войне. Приехали мы в Безансон, и стал я за мужика во французском доме. В автомастерской работал, ну и по хозяйству, самой собой, всегда забот полон рот.

Так дожили мы до сорокового года, когда пришли боши, немцы. При них жить стало хуже, потому что мастерская закрылась. Я брался за любую работу, даже по хозяйству помогать – старикам или кому побогаче. По-нашему, по-деревенски, - батрачил.

Ну, а в сорок третьем году, осенью, приходит вечером соседка и говорит, что её сестра, машинистка из мэрии, слышала, как боши расспрашивали про меня… Про русского, то есть.

Мари как услыхала, так села на кухне на стул и долго молчала. А потом говорит: тебе надо в Лион, там найдёшь кузена … Ты, говорит, мне живой нужен, русский мой дурачок, так что – иди. А кузенов у неё – чуть не в каждом департаменте.

Так я и пошёл в Лион, потому с моей Мари, если ей что голову втемяшится, - спорить было - как плевать против ветра.

В Лионе отыскал я кузена Мари и целый год прятался в деревнях вместе с партизанами, с маки. Нападали мы на бошей, и я узнал и французскую винтовку, и трофейный германский автомат… Сначала боялся немного. Забыл уже гражданскую, как пули свистят, но - привык. Тоска берёт, когда прячешься без дела. Только и думаешь про девочек, днём и ночью. А ежели занят, да кругом товарищи, - кто пошутит, кто поспорит, - тут страху до тебя не добраться. А потом ведь что? В бою не повезло – пуля стукнула, и конец. А коли – мимо, значит, живём до следующего раза.

А как союзники пришли, как фронт через Безансон перекатился – я сразу домой. Прихожу в наш домик, а там – никого. Теща померла, девочек моих - нет. Соседи говорят, боши угнали в Германию, на какой-то завод.

Ну что делать, надо жить. Живу. Каждый день спать ложусь, и тоскливо мне, хоть волком вой...

А к лету сорок пятого вернулись те, кого боши вместе с моими девочками угоняли. Они мне и рассказали, что девочки были живы перед самым освобождением, а дальше ничего не известно.

Ну, я подождал. Может, думаю, вернутся. Жду. Неделя, вторая. Нет никаких сил - терпеть. Надо, думаю, искать. Собрался и пошёл. На поезде до Мангейма, а потом пешим делом.

Отыскал тот завод, а там – никого, закрыто. Американский офицер велел мне возвращаться домой: дескать, смотри, а то попадёшь в какую историю... Как в воду глядел.

Делать нечего, пошёл я обратно в Безансон. А назад-то идти, судари мои, не то что вперёд. Хоть и домой, а ноги не несут...

И вот иду я, плетусь, и нагоняет меня машина. Я возьми руку-то и подыми. Устал. Остановились, взяли меня в кузов. Слушаю, батюшки мои: по-русски говорят! Ну, я, понятное дело, не вытерпел. Так и так, говорю, братцы, я тоже, значит, из России. Смеются солдатики: повезло, сейчас тебя оформят, и домой. А я им – так, мол, и так: дом-то у меня теперь в Безансоне. Они опять смеются: дескать, куда забрался-то, на самый французский край света...

Подъехали к развилке. Им – направо, мне – налево. Я – сходить. Прощайте, говорю, братцы, передавайте привет моей Липовице... И тут из-за солдат высовывается офицер и говорит: погоди-ка, Журавлёв, разговор есть... Капитан. Погоны - ну почитай как в Добровольческой армии. Я уже ногу занёс, через борт, а он меня за руку берёт и говорит: погоди... А на посту томми стоят, англичане, смотрят на нас, спокойно так смотрят – а чего им беспокоиться-то, чай не война... И вот он тянет меня за руку, капитан-то, мне бы спрыгнуть вниз, а он уже кричит: поехали!..

Увезли они меня в какой-то дом, а там капитан с другими офицерами давай меня допрашивать. Кто таков, зачем по Германии шастаю? Ну, я им всё как на духу. А они, вижу, не верят. Что-то ищут, а что – не пойму.

И – не пускают. Я уж и так, и эдак. Не пускают.

А потом – повезли. На восток. Сначала в Лейпциг. Там снова меня допрашивали. Теперь уже про капитана Муромцева. Нет ли у меня с ним связи, не получал ли я от него каких-то указаний. И конечно, снова всё без толку, потому что ничего я про своего капитана не знал с того самого дня, как он в Лондон подался.

Ну, посадили меня в поезд, повезли через Польшу. Опять с солдатами еду, но под присмотром. Поручик сидит, лейтенант по-советски, молчит сам и не велит с мужиками разговаривать.

Так и Варшаву проехали, потом Смоленск, а потом уж я смекнул, что меня в Москву везут.

Приехали на вокзал, там машина. Едем по Москве, а я смотрю в оба глаза. Интересно. Город немалый, Безансону не чета. Как Париж, а то и поболе.

Привезли меня в какой-то большой дом, перед ним ещё голая площадь. Потом уже мне растолковали, на пересылке, и про Лубянку, и про НКВД...

Опять меня допрашивать взялись. Опять про капитана Муромцева, какие он мне инструкции давал, как я с ним связь держал и всё такое прочее. А я что: то же самое, как попка, повторяю. А они - сердятся. Грозят мне и расстрелом, и тюрьмой, и лагерем на двадцать пять лет. Как-то раз пришёл генерал, здоровый такой, посмотрел на меня, послушал, потом ворот кителя расстегнул и как даст мне по морде, так сразу два зуба и вышиб. А что толку? Хоть все зубы мне долой, а всё одно ничего нового не скажу.

Генерал меня так отмордовал, что я сознания лишился. А как очнулся, слышу, они между собой меня обсуждают. Один другому говорит: что с ним теперь делать? Не похоже, что он с Муромцевым связан и с англичанами. Засылать его – так сразу в Сюрт**е** явится. Вот если бы его баба с дочкой у нас в руках были, тогда – другое дело… Какому только дураку пришло в голову тащить его сюда через три страны?

В конце концов, дали мне срок - за измену Родине. Я сначала думал: ни за что меня наказали, несправедливо. А потом вспомнил двадцатый год, Новороссийск, Крым, и понял, что это господь бог меня покарал – за то, что бросил я родной край и сбежал на чужбину…

*Пауза.*

И поехал я снова на восток. В столыпинском вагоне. Не знаю, почему вагон был столыпинский, просто так все говорили... И Урал видал, и Обь, и Енисей. На Байкал одним глазком взглянул через щелочку.

Привезли нас на Амур, в город Комсомольск, и там в округе все свои девять лет отбарабанил я на стройке БАМа. Сначала на ветке до порта Ванино, в горах. Но до самого моря-то не дошли, вернули нас назад и пошли уже на север, до Ургала. Оттуда я и поехал назад, в свою Липовицу…

Ежели меня спросить, можно ли прожить в тайге на каторжных работах – я так скажу, что можно, но не всякий осилит. Ну, сами посудите. Привезли нас на перевал, ноябрь месяц, мороз. Из вагонов вылезаем, говорят – вот здесь обживайтесь, барак ещё не готов, сами как-нибудь… Землянки копали. Потом бараки ставили. Лесу много, инструменту мало, топор, лопата да кайло. А что делать? Везде живут люди. Ну, те, которые выживают…

Потом пригнали японцев. Интересный народ. Работать умеют. Молчат. И всё кланяются. Как-то раз приходит японец и спрашивает меня… по-французски. Правда ли, что я в Париже бывал?.. Стали мы с ним разговаривать. Я по-французски, а он – по-русски… Курам на смех, но потихоньку привыкли. Он парень был образованный, у себя в Японии что-то про Францию изучал, но никогда там не бывал. Ну, вот я ему и рассказывал, как мог. Про что? Да про все, что видел, что со мной было… Ну, вот примерно, как вам. Только у нас времени было побольше. Бывало сидим с ним перед сном, он смотрит на меня, вроде слушает, а вроде и нет, о своём думает… Может, про Париж, а может, про дом, про мать да жену… Ведь, по правде говоря, что мог я ему такого рассказать, чего он из своих книжек не знал? Может, просто было ему любопытно, что вот здесь, в горах Сихотэ-Алиня, в советском лагере, есть человек, который по всей Франции проехал, от Марселя до Безансона. Ведь, чудеса да и только!

Года два мы с японцем дружили, а потом разъехались наши этапы в разные стороны. Не знаю, жив ли он, вернулся ли в свою Японию, вспоминает ли меня…

Ну, а когда на Ургал тянули ветку от Комсомольска, бандеровцев привезли. Эти ребята, бандеровцы, мужики крепкие, злые. Работают хорошо, держатся вместе, даже бытовики наши, урки, их не трогали, опасались. А то как же – фронтовики. Они там, у себя, на западной Украине и с немцами воевали, и с нашими, то есть, советскими.

Один из них, Петро, взялся было ко мне приставать. Ты, говорит, москаль немытый, у вас в избе рушника чистого не найти, тряпкой грязной утираетесь, а у нас стены белёные, полы крашеные… Ну, я-то не злой, я больше смеялся. Потом уж мы с ним сошлись. Они, бандеровцы, ко мне приходили, а я им рассказывал, как там во Франции всё устроено. И про народный фронт, и про бошей, и как вообще французы живут. Им-то я мог рассказать получше, чем японцу моему, всё-таки язык у нас почти одинаковый…

Вот я им говорю, бандеровцам, – чего же вы с нашими, с советскими-то воевали? Как же это – мы все славяне, а тут - друг против друга?

А Петро смеётся и говорит: ты, Ваня, в своей Франции нюх потерял, ничего не смыслишь. Они же, ваши-то, советские, как пришли в тридцать девятом, так давай свои порядки наводить: колхозы, кого в тюрьму, кого в Сибирь… Это, спрашивается, почему? Мы тут испокон веку жили, под панами мучились, а вы пришли – и давай шуровать похлеще тех панов… Это кто ж стерпит?

В пятидесятом году получил я письмо из Липовицы. Я до того пару раз писал, ответа не было. И вот – пришёл ответ. От племянницы. Так, мол, и так, одна я, никого из нашей ближней родни нету, как выслали в тридцать втором году, так никто не вернулся и весточки не подал.

Потом уже, в Липовице, узнал я в подробностях, что и как там всё было. Как попал наш хутор под раскулачивание и братьев со всем семейством выслали. Куда – неизвестно. То ли на Беломорский канал, то ли на реку Обь.

Хутор наш разорили. Большой дом разобрали, перенесли в деревню, там теперь правление колхоза. Ну, а для отца с маманей оставили погреб, под большим домом. Там они дожили свой век, через год померли - одна за другим.

Как только Петро, бандеровец, услыхал про это письмо из Липовицы, так и сказал мне: вот теперь ты узнал, на своей семье, что делают большевики с трудовым народом… Как же можно всё это терпеть?..

В пятьдесят четвёртом году вышел я на свободу из лагеря в Ургале. Справку в зубы – и езжай куда хочешь, кроме городов по списку, их там было штук сто. Куда мне было ехать, как не в свою Липовицу?

Через две недели я туда добрался. Иду по деревне – и не узнаю. Показалось мне, что тридцать пять лет назад была она краше… Избы маленькие, заборы плохонькие, а в центре – правление колхоза. Из наших, журавлевских брёвен.

Пока сидел у председателя, племянница прибежала. Крепкая баба, молодая, на бабушку свою похожа, на маманю, то есть. Обнимает, плачет – понятное дело, родня.

Пошли мы с ней на кладбище, помянули родителей моих, а для неё, значит, бабку с дедом. Хорошее место, возле бывшей церкви – её перед войной разорили. Оттуда вся округа видна. Ну, сами видите: вон поле, вон пруд, а там и хутор наш бывший, от которого осталась одна мастерская. Там теперь - колхозное имущество, рядом c коровником. Я как посмотрел на тот коровник в первый раз, и грустно мне стало. Грязно, коровы какие-то ледащие. Я-то во Франции видывал получше… А председатель мне: ты, дескать, помалкивай, что ты там видел, а не то закатают опять - БАМ достраивать…

Мужик он не злой, председатель. Позволил мне жить в нашей фамильной мастерской, на складе то есть. Всё одно – негде, а тут вроде - своё. Выгородил я себе угол, и стал жить. И в соседнем эмтеэсе – работать. Пока ноги таскали…

Ну и, конечно, тосковал я по своим девочкам – Мари и Кати. У меня теперь жизнь была такая, что я по ночам с ними разговаривал. Лежу на своём топчане и толкую с девочками – о том, о сём. Как я их искал, как в России оказался… Теперь-то, в своём доме, воля вольная, никто не слышит. В лагере меня, бывало, мужики ругали, что я по ночам заговариваюсь...

И представляю - как они там, в Безансоне? Одиннадцать лет прошло, Кати уже взрослая девушка. Может, замуж вышла, как раз – время. А может, и Мари – тоже. Что ж ей, одной мучиться?

Я про них думал – как про живых, потому что – как же по-другому? Пока человек живой, ему хочется думать про жизнь, про хорошее.

И вот я так лежу-лежу, а потом – душа велит, песню затяну. А как устану – можно и спать. Бабы мне, бывало, говорят: сидим у коровника на крылечке, слушаем тебя через стенку и ревём…

Вот я так думал, думал, а потом взял и написал письмо. Во Францию. Племянница меня отговаривала, а я всё равно послал. Чего мне было теперь бояться? Написал на конверте адрес: Франция, Безансон, улица, дом. На почте в Покровском все бабы сбежались на меня смотреть. Ты, говорят, чего это удумал? Разве это можно, во Францию? В Орел звонили. В конце концов, приняли письмо, и стал я ждать.

Лежу ночью и представляю, как в наш домик приносит письмо почтальон Анри – тот, который носил почту до войны. Если он, конечно, жив остался. Вон он кричит: мадам, вам письмо из России, то есть, из Советского Союза… И Мари бежит со всех ног, открывает письмо прямо у ворот, и читает, и плачет…

*Пауза.*

Проходит время, месяца полтора-два, зовёт председатель и давай меня ругать. Дескать, подвёл я его. Поругал, а потом рукой махнул: чего с меня взять? Езжай, говорит, в Орёл, в комитет безопасности.

Ну, не впервой мне – приехал. Бояться – не боялся. Арестовывать – так в Липовице бы и взяли. А так – приехал с повесткой.

Провели в кабинет. Капитан на меня посмотрел, открыл какую-то папку, достаёт бумагу и мне даёт.

Я гляжу – а это почерк Мари. Письмо... Ну, кое-как прочитал. Французский-то я забывать стал... Главное – понял, живы они, здоровы. И ещё понял – что карточка должна быть, фотография.

Спрашиваю капитана. Он вздохнул, показывает карточку.

Я гляжу: а Кати-то моя – взрослая барышня. Ну, точь в точь – Мари, когда я её в Париже встретил...

Сижу, смотрю, насмотреться не могу. А капитан мне говорит: всё, свободен. А письмо с карточкой – забрал и в папку положил.

Со мной прямо плохо сделалось. Давай я капитана просить – чтоб хоть карточку позволил взять. А тот: не могу, всё в твоём деле. Вещдоки. Уходи, мол, добром.

А я сижу, и так на душе моей горько, что словами не описать.

И тут капитан мне говорит: ладно, приходи в шесть часов, посмотрим...

Проболтался я по городу до вечера, прихожу. Капитан меня встречает и даёт карточку. И говорит: копию для тебя сделали, начальство разрешило. Ты, говорит, у нас знаменитость со своей французской роднёй...

Повел он меня в большой кабинет, к генералу. И начали они меня расспрашивать. Ну, я им всё рассказал. Так же, как вам, примерно. Чего мне скрывать? Я за эти годы столько понарассказывал, что можно, наверное, книжный том напечатать.

Потом, вижу, они меня не для протокола – просто из своего интереса. Чаю мне налили – и слушают. А я что – коли не посадят снова, и хорошо.

А генерал потом говорит мне: ты, Иван, прямо как тот Афанасий Никитин… Тут я вспомнил, как Нина Николаевна рассказывала про того Афанасия, который за три моря в Индию ходил… А я, выходит, не в Индию, а и в Африку, и во Францию, и почти что до Сахалина дошел. Ну, и моря у меня другие: Черное, Средиземное, да ещё Байкал за море сойдёт, хоть я его только в щёлку и видел… Жалко, до холодного моря Охотского не доехал чуток, рядом был, да не вышло.

В общем, возвратился я в Липовицу с карточкой, племяннице показал, на могилку к родителям сходил – похвастаться... С тех пор так и жил - счастливый. Да что мне ещё и нужно-то было: только и знать, что девочки мои живы и здоровы.

Ну, а через год стал у меня живот болеть. Болит, не проходит. Оказалось, плохая болезнь с коротким таким названием… Сделали мне в Орле операцию, и протянул я еще полтора года.

А потом схоронила меня племянница. Здесь, на кладбище нашем, на липовецком. Все мы тут: и я, и отец с матерью, и помещик наш, батюшка Нины Николаевны, и отец Григорий. Отсюда, с могилки моей, вся округа видна как на ладони: и земли нашей русской – во все стороны – видимо-невидимо...

*Пауза.*

Ну, вот она и подошла, племянница. Выросла при советской власти, а на кладбище крестится… Садится на бугорок, молчит, думает о чём-то своём. Забот, поди, полон рот. Муж, дети, работа – жизнь нелёгкая.

Вот она посидит так ещё немного – и пойдёт домой. Жить дальше. Живые – живут. Как могут. А нам остаётся только – смотреть им вослед да желать удачи.

Чего и вам желаю. Как говорится, будьте здоровы, живите богато. Это я вам говорю, орловский мужик, француз Иван Журавлев. Который полмира обошёл, а помирать возвратился в свою родную Липовицу…